

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

4

1998

1998

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4(876)

Апрель, 1998 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

СОДЕРЖАНИЕ

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Поэт, повесть	3
СЕРГЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ — Сгустился снег, стихи	79
ОЛЕГ ЖДАН — В небеса, за счастьем. Путешествия	84
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Зверь, рассказ	98
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ — Ни днем, ни ночью, стихи	107
ОЛЬГА ДМИТРИЕВА — Крыша и окно, стихи	109
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Клуб Вольных Долгожителей, рассказ	111
ЕЛЕНА ЕЛАГИНА — Вечер детских вопросов, стихи	125
ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ — Исчезновенья, стихи	128
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ — Переулоч, рассказы	132

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ТАТЬЯНА БРАТКОВА — Русское Устье	143
----------------------------------	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЕКАТЕРИНА КРАШЕНИННИКОВА — Эюд о Юдиной. Предисловие Евгения Пастернака. Приложение: письмо М. В. Юдиной к Е. А. Крашенинниковой. Публикация и послесловие А. Кузнецова	162
---	-----

МИР ИСКУССТВА

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ — Внимающий молчанию	176
-------------------------------------	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Четыре современных поэта. Из «Литературной коллекции»	184
---	-----

ОПЫТЫ

МАРИНА НОВИКОВА — «Мы» и «я»	196
------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА — Я самый обаятельный и привлекательный. Беспристрастные заметки о мужской прозе	202
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Борьба за стиль

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ — Две часовни 207

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Елена Ознобкина. ...на край возможности человека 213
Валерий Липневич. Ночная правда 216
Юрий Кублановский. Социальное веховство Петра Струве 219

Ирина Сурат. — Пушкин в прижизненной критике. 1820 — 1827 223
Владимир Коробов. — Крымский альбом. Историко-краеведческий
и литературно-художественный альманах 224
Андрей Углицких. — Сын Гипербореи. Книга о поэте 227
Олег Ларин. — Александр Соболев. Русский дом. Книга-альбом 228

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЧИТАТЕЛИ — О «НОВОМ МИРЕ» 230

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО — «Скромное обаяние» ранней советской
культуры 235

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко) 239
Периодика (составитель Андрей Василевский) 241
SUMMARY 256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АВТОРОВ
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ШКЛЯРЕВСКОГО
и ФАЗИЛЯ АБДУЛОВИЧА ИСКАНДЕРА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ ПРЕМИИ
«БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ», УЧРЕЖДЕННОЙ
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2350 экземпляров журнала «Новый мир»

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ЧЕТЫРЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЭТА

Из «Литературной коллекции»

Семён Липкин — «Воля»; «Избранное»

Явление, которому находилось место в причудливом СССР (а пожалуй и не в нём одном, в разных обществах разные тому причины): почти незаметно, «неслышно» существовали в поэзии незаурядные поэты — десятилетиями мало кому известные, оттого что не кидались служить режиму, как почти вся остальная поэтическая толпа.

Таковы были — и Семён Липкин, и Инна Лиснянская (впоследствии муж и жена).

Хотя Липкин был принят в Союз писателей ещё молодым человеком, и всего по нескольким разрозненным публикациям, не выпустив даже и сборника. Но потом несомненно спасая себя от советской казённой поэтической службы — ушёл в переводы: с калмыцкого, киргизского, кабардинского и других восточных языков. Затем он был военным корреспондентом, после войны продолжил переводческую работу, всё больше уходя в восточные темы и философию. По фронтовым впечатлениям 1941 года написал в 1963 весьма правдивую поэму «Техник-интендант», однако нечего было и думать её печатать. Всё же к концу 60-х, затем и в 70-х, сборники его стихов появлялись, а более полные — за границей, когда ему было уже за семьдесят.

Липкина — ещё бы не тяготило его изневольное общественное молчание. «Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой, / Говори, почему ты лукавишь с собой? / Почему же всей правды, скажи, почему / Ты не выразишь даже себе самому?», тот «Усталый облик правды голой, / Не сознающей наготы». Но ведь «строка моя произошла / От союза боли и любви». — «Дай мне белую боль сострадания, / Дай мне чёрные слёзы любви». — Однако годы замкнутости — они же и заземляют безнадежностью: «Неужели мы пропали, / Я и ты, мой бедный стих, / Неужели мы попали / В комбинат глухонемых?»; «Кто может сказать России, / Что мы, только мы — живые, / Что действует храм?» — Но и после столького молчания «Как сладко лгать себе, что дни твои — / Ещё не жизнь, а ожиданье жизни».

Однако и над молчащим нависает тот же топор: «...Я, пугающийся тюрьмы... <...> Но грозят мне те самые люди, / Что отвергли закон человеческий». — «Тупо жду рокового я срока, / Только дума одна неотвязна: / Страх свой должен я спрятать глубоко, / И улыбка моя безобразна». — Тюремно-лагерно-ссылная тема многократно прорывается в его стихи, протягивается сквозь. То в одном, то в другом стихе — сочувствие к ссыльным, сочувствие к энкам («Одна моя знакомая», «Похороны», «То да сё», «Тайга»). — «Это плачет сердце России, / Пятьдесят восьмая статья». — «На жмеринковском

перроне» обезумевшие от голода «куркули»: «Впавалку они лежали, / Ни встать, ни уйти не могли». Или о корейцах, сосланных из Приморья в Среднюю Азию. Пристально всматривается Липкин и в тех, кто творит, всю свою жизнь творил ГУЛАГ («Солдат революции», «Палач», «Нестор и Сария»). И в цельную картину и при Хрущёве нетронутого ГУЛАГа. «Соликамск в августе 1962 года». (Меня поражает достоверность описанного, ибо месяцем раньше того вот таким же наблюдал я и Кизел, рядом, в соликамском же кусте лагерей.) — Однако и задумывается поэт: а «Что сделали бы жертвы при удаче? / Могли ли превратиться в палачей?».

Сочувствие Липкина к пострадавшим от режима — неоднократно и пронзительно расширяется на боль русской деревни: «Частушка» (как тайком бежали от раскулачивания — и за 5 тысяч вёрст в Азию), «Лунный свет» — как «Городские парнишки со шупами / Ищут спрятанный хлеб допоздна», а потом «Будет в красных теплушках бессонница, / Будут плакать, что правда крива...». А вот и деревня вымершая: «Деревеньку дьявол, что ль, пометил? / Утро здесь не возвещает петел, / И средь лип — ни всхлипов и ни снов, / Не звенит в коровнике подойник, / И молчит, как в саване покойник, / Длинный ряд пустых домов».

Это сердечное сочувствие к русской деревне распахивается у автора на всю Россию: «А если глубже вникнуть, / То в прели и в грязи / Здесь может свет возникнуть / Всея моей Руси». В 1942 пришлось Липкину катить в грузовике редакции через казацкие станицы, где со злорадством провожали отступающих красных. « — А скажите, товарищ, / Может, вы из жидов? — / И вот что странно: именно тогда, / Когда ты увидел эту землю без власти, / Именно тогда, / Когда многолетняя покорность людей / Грозно сменилась тёмной враждебностью, — / Именно тогда ты впервые почувствовал, / Что эта земля — Россия, / И что ты — Россия, / И что ты без России — ничто», и хотелось «целовать неласковую казацкую землю...» — Так — автор достигает высоты уже выше национальной. Это продолжается ещё рядом сердечных стихов с православными сюжетами («Нищие в двадцать втором», «В поле за лесом», «На Истре», «Когда мне в городе родном») — и христианская тема естественно сливается с его религиозными размышлениями, с его «экуменическими мечтаниями». С русского Севера Липкин переносится в Новороссию («Южные церкви») — очень тепло: эти церкви «как мазанки синие», они «не блещут нарядом», а в них — «Лишь святость напева, / Лишь воздух душевности».

Липкин за свою жизнь немало поездил по просторам огромной страны — и повсюду с сочувствием вникал в местный колорит: не раз и не раз проявляет большую чуткость к обширному разноликому Востоку; много у него мотивов кавказских и среднеазиатских. С восточных языков переводил он никак не чужим сердцем.

При всём этом — не гаснет у Липкина и еврейская тема. Вот, приехал в Одессу — «И ничего я не знаю свежей, / Чем вопросительной речи певучесть, / Чем иронический смысл падежей». Вспомнит: «Иль это живопись Шагала — / Таинственная Каббала»; опишет («Комиссар») некоего Иосифа, в молодости служившего в ЧК, потом отсидевшего в лагерях; в картине валимой тайги, на лесоповале («казнь деревьев»), для автора сливаются и «жесткая синева голодных русских деревень», и евреи, погибшие в Бабьем Яре. Тему еврейской Катастрофы он развивает несколько раз. С достойной скупостью сдержанностью в «Вильнюсском подворьи». С огромной силой в «Золе»: «Я был остывшею золой / Без мысли, облика и речи», — сожжённый младенцем ещё во чреве матери, и вот, в потерянном сознании, ищет родное место: «А я шептал: „Меня сожгли. / Как мне добраться до Одессы?“» Очень сильно в «Моисее» — и как мастерски: в стихе всего лишь 12-строчном — 8 строк разгона нестерпимого напряжения, а на 9-й строке (пропорция «золотого сечения») — царственно-успокоительно вступает Бог. Да автор жаж-

дет, жаждет веры, но («Одесская синагога») — никак не докоснуться: «Я только лишь прохожий, / Но помоги мне, Боже, / О, помоги!» — Есть стихотворение о многозначительном маленьком племени «И» (все поняли — об Израиле, хотя есть версия, что Липкин писал о малом племени в Китае, доподлинно звавшемся «И»). Есть («Кочевой огонь») — с напряжённым духовным поиском национального осознания: «Какая нам задана участь? / Где будет покой от погонь? / Иль мы — кочевая горючесть, / Бесплотный и вечный огонь?» — Не раз текут в стихах Липкина библейские мотивы; а порой они трансформируются в евангельские: «Ужас понимания проникает / В тёмную вещественность души / <...> Разве только нам карьер копали, / Разве только мы в него легли?» — а когда плакала Богородица о Сыне?

Стихи Липкина большей частью (не всегда) стянуты в стройность, как теперь уже редко пишут. Особенно чеканны, даже скульптурны его поэмы («Беседа на вершине счастья», «Литературное воспоминание», «Нестор и Саррия»). Добротная традиционность, даже как бы вставание в вечность. Стих плотен по составу слов, дыхание — без какого-либо напряжения. Использован пласт свежих, невымученных и неистрёпанных рифм (*Тургенев — сиренев, лилов — любовь*). Метафорами нас не балует, а какие есть — все предельно ясные. «Ужели красок нужен табор, / Словесный карнавал затей? / Эпитетов или метафор / Искать ли горстку поновей? / О, если бы строки четыре / Я в завершительные дни / Так написал, чтоб в страшном мире / Молитвой сделались они...» Но уж сожмёт так сожмёт: «Ломовая латынь молдаван».

Вереница стихов его выдержана в эпическом высоком тоне. По сюжету, содержанию они — разного уровня (бывают и притуманены), — а всегда с душевной чистотой и прямоотой, всегда благородны. «Но разве может жить на земле человечество, / Если оно не досчитается хотя бы одного, / Даже самого малого племени?» — К животным ли: «Благосклонный не стал благородным, / Если с низким забыл он родство, / Он не вправе считаться свободным, / Если цепи на друге его». — К деревьям ли: «Растения поруганное право. / Враждуем с племенем лесным, / Чтоб делать книжки? Лагерные вышки? / Газовням, что ли, надобны дровишки? / Зачем деревья мы казним?» — «Тополей и засохших орешин, / Видно, тоже судьба не проста». — «Есть у деревьев, лиственных и хвойных, / Бесчисленные способы страдать / И нет ни одного, чтоб передать / Своё отчаянье...» («Молчашие»). К деревьям он особенно чуток («Чуть слышны растений голоса»), не только к породам их, то северным, то южным (сосна, акация, кипарис), но к характеру отдельных стволов! Да — вообще ко всему растущему, растительному. Он расславливает «речь травы, / Которая сложней стихов и шахмат». Величественно: «Громовержащая вода!» А в пустыне — «Как будто эту гниlostную воду / Пьёшь из предвечного ведра». Различает характер отдельных морских волн; птиц ли, кузнечиков, былинки («Воскресное утро в лесу»). — Поэт ведёт «бессловесный разговор» с монадами, читает «клинопись в обличии растений», беседует «с живым иероглифом вещества».

Так мироощущение автора всё пропитано пантеизмом. И — как будто не доходит ни до одной религии, при глубоком интересе и сочувствии ко всем к ним. «Но жизнь моя была таинственна, / И жил я, странно понимая, / Что в мире существует истина / Зиждительная, неземная». — «Что даже человеческое горе / Есть праздник жизни, признак бытия»; «зерно прекрасного страданья».

Большинство стихов Липкина значительно по мысли, в поисках глубины вещей, иные — из надмирной философии («Дао», «Время», «Обезьянник»: «Когда забыв начальных дней понятия...»). Характерно для него и чувство единства всего протяжённого человечества — единство с теми, кто жил и задолго прежде нас. «Но живущие и те, кто жили, — / Все мы рядом». — «Можно забыть и живущих, но мёртвых, но мёртвых / Можно ль забыть?» — «И тому не раз я удивлялся, / Как Ничто мы делим на года; / Ан-

гел в Апокалипсисе клялся, / Что исчезнет время навсегда». — Диалог Бога и дьявола на Эльбрусе — философская поэма, дуалистичная, очень странная; тут — никакого религиозного чувства не находим. А в других стихах («Беседа», «Две ночи») философское размышление поднимается в религиозное: «Но гул последнего Суда / Мы не забудем, не забудем».

Афористичны и запоминаются немало строк. «Распад сердец / Страшней, чем расщеплённый атом». — «Различать / Прямую мощь избитых истин / И кривды круглую печать». — «Только жизнь и есть возмездье, / А смерть есть ужас перед ним». — «Чтоб не погаснуть, вовремя умри». — «Добро — в тревожно-жгучей мысли, / Что мало сделал ты добра».

1995

Инна Лиснянская — «Дожди и зеркала»

Сборник Лиснянской поражает, увлекает с первых же стихов. Всегда — напряжённое чувство, а если покой (редко) — то глубинный. Ничего искусственного, никакой позы — отсердечная искренность. Душа её дрожит, а стих — в свободном лёгком дыхании, и плотен, и безупречен поэтической формой. Не теряя естественности — интонация часто певучая. И чувства-то она передаёт лаконично, малыми деталями, иногда вторичными, третичными, исчезающими намёками, ничего прямо-грубо, как авторы нашего века ломаются *назвать*. «Лишь беглые взоры понятны». Стихи её — всегда короткие, и в них — законченная мысль, чувство, образ, а то и афористичные строки. За образами, за метафорами — нет никакой нарочитой погони, измышления их. Казалось бы: после Ахматовой и Цветаевой, после двух столь великих — как можно проложить свою самобытность, и притом быть значительной и украсить русскую поэзию? А Лиснянской — это удалось, и видно, что не по заданной программе, а — просто, само по себе, как льётся.

В массе стихов её — большой перевес любовной лирики и личного. Видно, много пришлось ей пережить и страстей с переменчивыми привязанностями, и разочарований, и душевной боли, и незастывающих ран. И всё это — она преодолевает неуклонной силой духа. «А письма, что горло мне перехватили, / Не лентой, а пламенем перехвачу». — «И пробил час, и сердце опустило, / И совершенна эта пустота...». — «Царство тебе небесное. / Злая моя печаль». Среди множества её чарующих лирических стихов выделить хотя бы: «Всё мне открылось», «Эту женщину я знаю, как себя», «Над чёрной пропастью воды», «Ленивая беглая ласка», «В овраг мы спускались», «Цветные виденья былого». — Глубок перепад её чувств. «Рукой слезу останови, / Не бойся горестного знанья — / Проходит время для любви, / Приходит для воспоминанья». Но и так: «...Спи, бесстыдница, взгляд потупленный / Ты не встретишь в раю». — Или: «Бешеным смирением / Всю душу мне трясёт». А душе её «...только в огне дышалось, / Поэтому нет и меня». — «...Господи Боже, кому мои слёзы? / Господи Боже, кому я сама? / <...> Веткой берёзовой стать я готова, / Только не будет той милости мне». — «Мне стало тяжело запоминать, / Но забывать ещё мне тяжелее».

«Душеломен мотив» — пишет она о переживании любви, но из такого часто подымается осмысление жизни. Своей: «И нечем прикрыться, и некуда деться, / И всё-таки надо до смерти дожить...», «...Листья старятся с изнанки, / Люди изнутри». И людской: «У нищих прошу подаянья... / ...Подайте мне ваше терпенье / На паперти жизни стоять». Но и вселенской: «Подменяем мы воздушной связью / Нашу с небом жертвенную связь». А быть бы «Сестрой дождя, подругой снегопада / И знать, что между небом и землёй / Тебе других посредников не надо». — В мире «Задумано всё безупречно, / И тем эта жизнь хороша, / Что счастье, как сердце, неечно / И горем бессмертна душа». — «...Не бойтесь о твёрдое стукнуться, / А бойтесь

в пустотное вклиниться, — / Ведь как в этой жизни аукнется, / Так в будущей жизни откликнется». Смотрит на небо — и видится ей «В облако впаянный крест»; и тянется она «Снова узнать и поверить, что судьбы / Дышат небесным дыханьем Твоим».

А с этим сознанием естественно соседствуют и размышления о самом творчестве: «Если меня не находят слова, / Лучше мне их не искать». — «Я за целебным ядом слова, / А ты, а ты почти готова / Отдать все лавры за шипы», — когда уже видно, что «И всей души движение, / Над смертью торжество — / Одно стихотворение, / Не более того».

Но вот судьба поэта в СССР: общественных и политических тем — Лиснянская не касается, хотя: «Я к времени привязана, / Как к конскому хвосту». И порой читаем: «Год арестантский грядёт / За раскулаченным годом...» — «Воспоминание о раскулаченном», «Набрань» — о сосланных на дальний малярный юг русских крестьянах, — «Много тюрем на Руси, / Господи, спаси». — Однако Лиснянская — подозрительно *молчит*, не годна к советской печатности, а ходят её стихи в самиздате, и это опасно. И, сходно с Липкиным, не раз прорывается у неё страх перед преследованиями: «Но чудится погоня / Все ночи напролёт. / Берёт мой след овчарка / На длинном поводке». — «...Я приготовилась к расправе / Над смуглой музой моей». Ей «Каторжанская / Мерещится тропа». — «...Я упаду лицом, / Когда конвойные / Прошьют меня свинцом», и «Обрусевшего / Христа на ней узрю». — «Пропажа рукописи»: «Страх мой гол, как сокол: / В чьих железных руках / То, что прятала в стол?» Испытывает она «Овечью дерзость и смирение волчьё». И встаёт в душе сопротивление: «Не из тех я сестёр, / Что без крику — под нож, / Без слезы — на костёр». А через отчаяние достигается и свет: «И вдруг я забыла о страхе, / И горло, готовое к плахе, / Открыто и вольно поёт».

Уникально сочетаются в Лиснянской — русская и еврейская темы, так переливчато, что почти нельзя их разделить: в одном стихотворении, в соседних строках — и православная лампада и Исход, «правнучка Рахилева», «И орлу двуглавному / Прострелили грудь». А в «Заложнице»: «Ты обо мне не плачь, Рахиль, / В жилище ханаановом! / <...> Меня не вызволит отсель / Звезда шестиугольная. / Я в русский снег и в русский слог / Вросла — и нету выхода, — / Сама я отдалась в залог / От вдоха и до выдоха!» И: «...чужая страна мне снится, / А родная заснуть не даёт». — «...Я никуда не могу, никогда не уеду». — С самым глубоким переживанием пишет она стихи на русские темы — «Антонина», «Пожар на болоте»: «Имя Господа мы долго жгли / И сгорели сами. И, как знаменьё, / Ливни милосердные сошли», — «...Каюсь на пространстве торфяном, / Низкий голос по России стелется...» — «Зато над землёю русскою / Твоя запоёт душа»; или «Молчат твои подвижники, / Затоптанная Русь! / Молчат твои мятежники, / Лежат в сырой земле», — и называет себя «их младшей сестрой». А само собою и еврейская тема выныривает не раз: «Бредит он вторую ночь / Печью газовой, / — Не пишись еврейкой, дочь, / Мне наказывал». И вот, пришло время — «Под небо Иерусалима / Моя устремилась родня...». — «Вам, друзья мои, вам, дорогие, / Улыбаюсь сквозь слёзы вослед: / Вы не бойтесь, друзья, ностальгии — / Есть Исход, эмиграции нет!» А сама — на ребре, на перевесе: «Для своего народа — инородка, / Для матери родной — чужая дочь». Хочет же: «...чтобы мать меня признала / И чтоб своей меня назвал народ».

1993

Наум Коржавин — «Сплетения»

Наум Коржавин за политическое вольномыслие уже из студенчества был вышвырнут в 1947 в ссылку. В сибирской, потом в карагандинской ссылке обострились политические мысли его. Уже в последний год Сталина он,

предчувственно, рисует скорую свою встречу с Москвой: «Ты продашь всё спокойно: и совесть, и жизнь, и любовь. <...> Так живёшь ты, Москва! Лжёшь, клянёшься, насилуешь память...» Оттуда же размышляет он и над смертью Сталина. В тот момент у него ещё нет уверенного взгляда: «Я сам не знаю, злым иль добрым роком / Так много лет он был для наших дней». Решение тем трудней для Коржавина, что с ранних лет он сгорал в революционной романтике, разделяя уверенность, что нет людских жертв, которых бы не оправдывала революционная цель, — тип молодёжного мироощущения, так характерный для довоенных лет. «Но я благодарен печальной Планиде / за то, что мы так, а не иначе жили».

Коржавин вернулся в Москву в середине 50-х, в потоке прощённых и реабилитированных, и настроения тех лет находим в поэме «Танька». Героиня её, вот, вернулась с Колымы седая, а даже и сейчас неукротимо-фанатичная. Автор пересматривает мелькавшие обстоятельства её жизни и неизменность настроений: «Комсомольская юная ярость <...> Презиравшая даже любовь, отрицавшая старость, <...> Без мебели всяких квартира, / Где нельзя отдыхать — можно только мечтать и гореть». «Дочкой правящей партии я вспоминаю тебя...» Там и борьба с оппозицией, и участие в раскулачивании. «Ты любовь отрицала для более полного счастья, / А была ль в твоей жизни хотя бы однажды любовь?» Была — но об арестованном своём возлюбленном, по требованию партийной совести, «Ты про всё рассказала задумчиво, скорбно и честно, / Глядя в хмурые лица ведущих дознание людей», — а потом о погибшем «в бараке на нарах проплакала целую ночь». Однако тон этой поэмы — не разоблачение нравов эпохи, а тёплый, понимающе-сочувственный, — и тут весь Коржавин. («Я не давать тепла не мог»; и, в споре с П. Коганом: «Я с детства полюбил овал / За то, что он такой законченный».)

Правда, к революционным злодеям проявлялся Коржавин и порезче. Для них «Куда спокойней раз поверить, / Чем жить и мыслить каждый день». — «Идиотизм крестьянской жизни / Хотелось им искоренить», — и вот «Ножам по живому телу / Они чертили свой чертёж», «им неспроста / Казалось мелким состраданье, / Изменой долгу — доброта». — «И романтик в эшелонах / Вёз на север мужиков», — всем сердцем отзывается городской поэт на крестьянское горе, как это было редко в советские годы! Но тут же автора пронизывает: «Я сам причастен. / Я это тоже одобрял». В 30-е годы он терзался гибелями революционеров-коммунистов — а о крестьянах? «А вот об этой — главной — крови / Всегда молчал. Её — прощал»: «эта кровь была чужою» — редчайший в советской литературе и советской жизни акт раскаяния.

А дальше? — едва оправясь от злоключений тюрьмы и ссылки — ступать на борьбу с общественной неправдой? Значит с самим советским режимом? Труден этот подъём к общественной смелости: «Я мешок потрохов! — / Так себя я теперь ощущаю. / В царстве лжи и греха / Я б восстал, я сказал бы: „Поспорим!“ / Но мои потроха / Протестуют... А я им покорен». Однако этот мягчайший человек — переступает свою боязнь: «Лучше встать и сказать, даже если тебя обезглавят». И, издав в СССР единственный и обкорнанный сборник стихов (1963), — Коржавин всё более перетекает в запретный самиздат, на грани 70-х становится нетерпим властям и при истинном душевном сопротивлении, не как тысячи охотливых эмигрантов тех годов, — уезжает за границу.

Усвоенный честный взгляд на происходящее и предпринятый общественный замах — погрузили Коржавина в собственно русскую тему, горячо принятую им к сердцу, он многократно это проявил: «Прости меня, прости, Россия, / За всё, что сделали с тобой / <...> За тех юнцов, что жить учили / Разумных взрослых мужиков». Углубляясь и в историческую российскую перспективу, откликается и на некрасовское: «А кони всё скачут и скачут. / А избы горят и горят». — Едва воротясь из ссылки, — видно, вскоре поехал

смотреть на дивный храм (прекрасный стих «Церковь Покрова на Нерли», 1954). И от души: «Я просто русским был поэтом / В года, доставшиеся мне». — А когда подступило расставание: «Мне расстаться с Тобой, / Как с собой, как с судьбою расстаться» («Родине»).

И такая преданность России — никак же не ослабляет страданий поэта от уничтожений, перенесенных евреями: «Дети в Освенциме» и вжитая сердцем «Поэма существования». Киевский мальчик, счастливо увезенный отсюда в начале войны, в этой поэме Коржавин естественно находит приём, не давшийся другим, кто писал о Бабьем Яре: он ведёт повествование — от себя же, расстрелянного там в свои 15 лет (что вполне могло с ним произойти). Плетётся процессия обречённых по улицам — а горожане смотрят молча с тротуаров, и многие несочувственно. «Нет, не гибель страшна, а дорога сквозь эти взгляды». И из этой наблюдающей толпы «злобно баба кричала»: «Так и надо вам, сволочи! Так вам, собаки, надо!» — «не могла накричаться...». Но автор имеет проникновение подняться выше оглушающей обиды: а эту бабу — «кто её вытащил голодом [1932 года] в этот город, / Оторвал от земли, от себя, от понятных истин?» — «Если баба орёт, если люди молчат угрюмо, / Что-то помнят они...». — И — выше, выше: а — я сам?.. в отрочестве ему было «жаль, что давно кулаков без меня разбили». А вот: «Здесь, в толпе, только я виновен. / Я один». Частице гонимой на смерть толпы — ему ли не понять судьбу еврейскую: «Есть такая судьба! — я теперь это в точности знаю. / Всё в ней — глупость и разум, нахальство и робость — вместе. / Отразилась на ней — темнота — и своя, и чужая. / И бесчестье — бесчестье других и своё бесчестье. / Есть такая судьба — самый центр неустройства земного...» Но вот — на обочине стоит «тонколицый эсэсовец». Он смотрит на обречённых с уничтожающей ненавистью — однако, однако, автор берётся и это понять: «он тоже живёт идеей. / У неё ж справедливость своя». Но и на такой высоте Коржавин не останавливается, идёт в обобщения выше: «Все — мешают [друг другу]. Все люди». А между тем: «Все мы связаны кровно», всё человечество. — «Мы ненавидим тех, чьи жмут нам горло пальцы, / А ненависть в ответ без пальцев душит нас». И это уже давно с несомненностью повело поэта к религиозной вере — и он уже который раз силится повести туда и читателя. В стихотворении «Последний язычник» (1970) предупреждает от «гордыни раздора с Богом». И зовёт: «Сознаться в слабости своей / И больше зря не спорить с Богом».

Стих Коржавина не отличается собранностью и отлитой формой и неэкономен в строках. Редкие стихи цельно-удачны, чаще — лишь отдельные двустишия или строки. Но всегда напряжённое содержание — политическое, историческое, философское — как бы и не нуждается в изощрённой стихотворной форме: оно и по себе достигает высоты, оно честно, умно, ответственно, и всё просвечено душевным теплом, сердечной чистотой автора, всё льётся от добрейшего сердца.

Любовной лирике уделено у Коржавина не много стихов, зато они пронизаны безграничным восхищением перед женщинами: «Руки! Руки! Ловить губами / Вас в полёте. И целовать! / Кожа тонкая. Шеи гнутся <...> / Сколько нежности! Задохнуться! / Только некому — женский цех...» («На швейной фабрике»). — Эта переполняющая мягкая нежность и поклонение, как известно, редко приносят мужчине успех у женщин, и это отражено в двух милых стихотворениях — «Песня, которой 1000 лет» и «Тем, кого я любил в юности». А вдумываясь в женскую суть: «Освободите женщину от мук, / И от судьбы. И женщины — не станут».

Коржавин и размышляет о поэзии в иных критических статьях и проявляет безошибочный вкус; да вот и, совсем молодым, как свежо говорит о Пушкине: «Как будто всё не открывал, а знал», «та пушкинская лёгкость, в которой тяжесть преодолена». — А многими годами позже духовно превзошёл интеллектуальное смятение в послесоветской поэзии, открылось ему яс-

ное зрение «На глубину бессвязных строк, / На мутных гениев поток, / Текущий из России. / Всё чувшь... Но знак глухой беды — / Подпольных гениев ряды, / Чьё знамя секс и тропы». Коржавин в публицистике высказывал горькие предупреждения этим самонадеянным литераторам (например, в 1983 в Милане, на литературном симпозиуме).

Из эпопеи Третьей эмиграции в Америке, и даже от тех немногих там голосов, в каких слышалось и какое-то сожаление от расставания с Россией, — ото всех от них исключительно, рельефно отличался Коржавин. Его душевное сотрясение от расставания с Россией — поражает своей силой, глубиной и долголетней последовательностью.

Эту горечь он предчувствовал задолго вперёд. Ещё в 1962 в «Памяти Марины Цветаевой» он писал о русских эмигрантах: «Не с изгнанием свыкались, / Не страдали спесиво — / Просто так, задыхались / Вдалеке от России». А в 1972, уже на пороге невыносимого решения эмигрировать: «Иль впрямь я разлюбил свою страну? / Смерть без неё и с ней мне жизни нету». Первый же эмигрантский цикл своих стихов озаглавил: «Всё-таки жизнь»... Всё-таки... Однако внутри цикла: «Но умер там / И не воскресну здесь». — «Но каждый день / Встаю в чужой стране». — «Я, может быть, потом ещё вернусь, / Но то, что я покинул, — не вернётся». — «И вот — ушёл оттуда. / И не ушёл... Всё тех же судеб связь / Меня томит... И я другим — не буду» (1974).

В следующем цикле («Письмо в Москву»): «Я так забрался далеко / В глушь... В город Бостон». — «И вот живу за краем света, / В тот мир беспечный занесён, / Где редко требует поэта / К священной жертве Аполлон», «Поскольку трезво понимает: / Здесь этой жертвы не поймут». — «Станный сон... Длится жизнь... / А её уже в сущности нет»; «...Я уехал из жизни своей / ...Потому что побег — не победа...».

И уже в 1980 в примечательной поэме «Сплетения»: «...вновь тут за горло я взят. / Смешно за свободой являться / В чужую страну — в пятьдесят». — «Конец! Я своим тут не стану. / Всё будет, как было и есть. / Всё — в гибель... / И думать мне странно, / Что мог я родиться и здесь», «Где медленно я подышаю / В прекрасном своём далеке». — «На своём берегу», в России, «я б всё-таки, как-то, пожалуй, <...> выплыл... А так — не смогу. / А так — лишь отчаянье гложет». — Эту мысль, «что мог я родиться и здесь», — Коржавин весьма оригинально развивает: если б его дед, цадик, эмигрировал в Америку (путь его в поезде до Риги описан с иронической реминисценцией из Пастернака). И вот, гаданье: «...каким бы / Я вырос, родись бы я здесь. / <...> Молился б я Богу евреев, / К неизбранным лишь снисходя. / <...> О, Господи!.. Как это скучно! / И как с этим глохнет душа!» Или, напротив, поддался бы гордыне безбожия западного? «И в свой ненаполненный разум / Поверил, как в пик бытия. / И может быть, стал бы отменным / <...> Престижным саксесыфулмэном, / Спецом по обрывкам пустот. / Теснящим все признаки жизни / Плетеньем ненужных словес, / Без всяких марксизм-ленинизмов, / Сознание затмившим, как бес. / Агентом всемирной подмены / Всех смыслов, основ и начал...»

Но от этой Америки он естественно перебрасывается мыслью к *подобным* возможностям и в советской Москве (и как прозорливо! и как это в ближнем будущем вспомнилось, и смешалось воедино!): «Там тоже различные масти / Подмены души и ума, / И тот, что внушается властью, / И та, что родится сама. / И даже звучит дерзновенно... / В ней часто изысканность есть / И вызов... Но это — подмена. / И в общем, такая, как здесь. / Она и бежит, как известно, / Сюда, — „чтоб спастись от цепей“, / И бодро сплетается с местной / В удавку на шее моей». Нет! Душевные чистые задатки автора должны бы были взять верх и при американском жизненном жребии: «Вернулся б не к дедовской, может, / Но — к вере... Как сделал и там». Так,

в этом сравнении вариантных жизненных жребиев «И внятна связь судеб — своей и мира».

В раннеэмигрантском стихотворении-молитве (хотя и не названном прямо молитвой): «Пусть будет всё, чему нельзя не быть. / Лишь помоги мне дух мой укрепить». И снова взмывает русская тема, да с какой поразительной силой чувства: «Не страшно ль? Сбежав за границу, / Держась за последний причал, / Я рад, что мне вышло родиться / В стране, из которой сбежал. / Но всё — и причастие к небу, / И к правде пристрастие моё / <...> во мне от неё. / И счастлив я, — даже тоскуя, — / Что я не менял, как во сне, / Отчизны — одну на другую, / Равно безразличную мне. / А <...> резал ножом по живому, / Когда расставаться пришлось. / И здесь, в этой призрачной жизни, / Я б, верно, не выжил ни дня / Без дальней жестокой отчизны, / Наполнившей смыслом меня». «...И, может, Россия погибнет, / Не тем занята, чтоб спастись. <...> А если погибнет — не надо / Самой справедливости мне». В том, какова Россия сейчас, «В том нет уже даже безбожья — / Ленивый развал бытия. / Как пеплом, завалена ложью / Там поздняя мудрость твоя. / <...> И будут тебя ненавидеть / За всё, у чего ты в плену».

Так и сбылось. Вот эта поэма, да и другие места в стихах Коржавина — напоминают мне Некрасова: не только ритмикой, но — приёмом, манерой речи и мысли, через которые льётся напряжённое общественное и патриотическое чувство.

1996.

**Лия Владимировна — «Среди неназванных дорог»,
«Переходы летящих мгновений» и др.**

С не менее острой тоской по оставленной России проявился и ещё один эмигрантский поэт — Лия Владимировна. Уехав в Израиль в 1973 году, — она вослед одно десятилетие и ещё почти другое жила в ошеломлённом, раздвоенном чувстве от перемены, от сделанного выбора: «...одна, без возвращения, / Вся в никуда и в никогда». Вот только что переживши «драмы прощаний и отъездов», тот миг роковой, когда «...уже отрывались колёса / От почти не моей земли», — в Израиле поперву: «Это — чудо: простясь, не расстаться, / Дух мой весел и сон мой здоров», но быстро что-то сламывается в душе: «И вот так, себя избегая, / Я встаю сегодня другая... / Окончателен выбор мой. / Синий зной, тишина сквозная, / Только я языка не знаю...» И разбирает «грусть бездомная, вековая...»; наплывает: «Проходим тропкой полевой, / Идём колючками, травой / Послушать пение кукушек... / Болотце в грохоте лягушек». Да нет же! там, позади, противная коммунальная квартира — «...Квартира, родина, рогожа...». — «...И где я в тюрьме не сидела, / Но тюрьма темнела во мне». — Нет, «Не обелить мне этих дней / Ни малодушием покорным, / Ни этим страхом, страхом чёрным, / Изнанкой памяти моей». Но и — не оторваться от того, прежнего: «...наборматывает что-то / Про дух лесной, про папоротник, мох... / <...> тёплым хлебом пахнет печью». — «И можно, прислонясь к коленям / И глядя в прошлое лицо, / Замкнуть старинное мгновение / В невозвратимое кольцо...» Конечно, тут — и многие воспоминания о молодой отошедшей любви. «А там потянет снег девичества / И белый город к сердцу льнёт...» А тут «Изнурительно и безгласно / Догораю, как тает снег...». — «...Лишь песня, песня, ширь степная / В груди щемит...» — «Стужа пахнет свежескошенной травой, / Алы цветики восходят на снегу...» — «О, снега чувствовать тепло, / О нём тоскуя душным летом! / <...> А жить без снега тяжело». И «...Как боюсь, что от южного зноя / Пересохнут мои дневники!». Чудится: «...Из пальмы, жарю приби-

той, / Закапал берёзовый сок. / <...> И под виноградной лозой — / Вдруг луг, сараюшка, плетни».

Мало в ком трагический узел эмиграции выражен так ярко. В тоске доходит автор даже до того, что московский двор — «Желаннейший из всех дворов». «...И пахли Русью, пахли Русью / Ступеньки, горница, подзор». — «...А над тихой Тивериадой / Небо в россыпях вековых»; «Но светлей генисаретских / Волн и воздуха вольней / Мир, явившийся из детских, / Нестерпимо синих дней». И для неё «...Ходит русская старина / Под библейскими облаками». — «...Тосковали они на другой стороне / По родной лебедятине, по серым кустам / Да по ивовым стрелчатым тонким листам». — «...На реке, на солнце, близ Тарусы, / Средь песков и ивняков...» — «..Бор дремучий — плохо ль? — вот квартира. / Бор пахучий, тишина...» — «...Зов кукушки — оклик издалёка — / Миги счастья отсчитал». 12 лет протомилась в эмиграции — и ещё рождается головокружный «Подмосковный июль» (1985) — «...Сенозарник и страдник! / Запах сена, одурь, жар .». И даже в европейской насыщенной поездке: «Будто, вжавшись в травы, / Дышит рядом Русь».

Но не одна лишь русская природа, не только память юности и любви, поэтесса и с большой зрелостью судит о России и русской судьбе: «О чём она безмолвно просит? / Каких неожиданных ждёт вестей? / А безвременье косит, косит / Её израненных детей». — «Шла без страха на распяты / Эта странная страна». — «А где вчера светились купола — / Там ныне брань, и страх, и смрад безгласный». И уже не перечесть «...Всего, что, метя золотою пробой, / Россия в искупленье отдала».

Находя и в себе русский характер: «Оттого-то весело, когда / Пляшет перевёртышем беда!» — «Я не зря грозы просила: / Здравствуй, радостная сила / Разыгравшихся громов!» — в иных своих стихах Владимирова использует и русские фольклорные приёмы, и подражания народным песням, вводит и прямые православные мотивы: свеча, молитва, чудотворная икона, иконостас, верба, соборная прохлада, колокол... И («На Масличной горе») через «раннее колокольное пенье» — «Я тронута прикосновеньем / Таинственным — к себе самой». — «Снилось мне, что бабы голосили, / Снилось — от велика до мала / По тебе, умолкшая Россия, / Древние звенят колокола». Внутри самой России от русских поэтов — такую силу чувства к родине встретишь редко. «Хоть наг и бос — не безголос / Твой крестный ход, моя Россия! / Не в каждом воине — Христос, / Но в каждой матери — Мария».

А вот — «Свежий сумрак синагогальный, / Отчуждённый, горький и дальний / Мне на плечи еще не лёг». Однако Иерусалим: «Как он светел, как свят, как тревожен, / Этот город — как слёзы горят!» И в минуты изнемогающей тоски уравнивавшая себя: «Лишь этой веры не отдам, / Лишь этой верностью права: / Земля Израиля — вся храм, / Вся светом памяти жива».

А после 16 лет эмиграции побывав, наконец, в жадно желаемой Москве, заключила: «Тут дома все, лишь я одна не дома». Выбор жизни сделан.

Но в Лии Владимировой метание эмигрантской тоски — ещё и не главное. Несомненно — она значительный поэт, по видимости недооценённый. Почти нет у неё стихов, которые не задели бы сердца, не остановили внимания. Даже не назвать «уверенное владение стихом» — а просто стих всегда лёгок, мелодичен, нет никакой натуги в его построении. И нет подставки случайных слов, в выборе их всегда упругий смысл. Стихи её отприродно музыкальны, насыщены рифмами, усилены ещё и внутренними, рифмы — полнозвучны, никогда не изошрены, но и никогда не банальны. И строго организованные сложные формы, как сонеты и венки сонетов, или другие композиционные узоры у неё отлично сложены, как бы легко получаются сами, без усилия. Очень характерно, что она вовсе не нуждается в enjambements, переносах из строки в строку (да мало нуждается привлекать

для выразительности и тире, уверенная в самой связи слов), стих её льётся в классических рамках, а уж если вдруг перенос — так и выражает излом, бросок чувства: «А сердце — прочь, а сердце — за / Черту...»

Ощущение природы у Владимировой — большой полноты, остро отзывчивое на времена, месяцы года, она ловит «весомость солнечных мгновений», отдаётся переменчивости погоды и откликается на малые знаки произрастающего. С букетом красных маков в Ташкенте: «Это Азия бежала / Меж ладо-ней у меня».

Свободно и нередко она привлекает реминисценции известных мест из русских поэтов, тем ещё повышая волнение от своих стихов (иногда может переходить меру). Испытала она влияние Пастернака (например, в использовании прозаизмов городской лексики: «но покончив с этой канителью», «во всём этом виден изъян», «лето жмёт на всех парах», «и восхищенья не вызыва-ая»), Ахматовой (упивается размером «Поэмы без героя», однако не подражательна в нём, вполне самостоятельна: «Где другая шла до меня, / Та, которая из неволи, / Из отчаянья, зла и боли / Свой выгравировала простор»), а может быть от Цветаевой — точнейшая датировка многих отдельных стихов? Но все эти влияния не покорили Владимирову, а только усилили её перо.

Сердечная интонация, колотящаяся через строки порывистость, ранимость, переменчивость настроений составляет главное обаяние её стихов. Она вся несомна вихрями чувств, они сплетаются неожиданными нитями — а нигде не создавая хаоса. И сохраняется мера недосказанности и смутного просвечивания. Всех примеров здесь не привести.

Есть у Владимировой и прекрасные строки о самом стихотворчестве. «И снилось нездешнее стихотворенье, — / Ведь где-то оно существует, наверно. / Лишь дай ему вздох, долгожданному звуку...» — «...Отдать бы, Господи, полцарства / Или полжизни — за строку!» — «И, будто бы издавека, / Звенит прерывисто и чисто / Ещё не слышная строка». — «И хлопчешь, и кружишь, как мать, / Над младенчески-хрупким стихом». А потом «Постоянное расставанье / С тёплым пеплом черновиков». Зато, когда удача — «Светлым жаром горчайших строк / Лёгкий пепел в сердца стучится». — «...строчки строги, как природа», и «...румянясь и тяжелея, / Пахнут яблоками слова». А то «...я под тяжестью страницы / Клонюсь, одышливо дыша. / И всё труднее год от года / Мне высечь толику огня». Прочтёшь друзьям? — «И мнёт мой стих молчание друзей». — «О, это серое смирение <...> / И зябкое стихотворенье, / Заброшенное на столе...»

А женщина, так живущая стихом и так владеющая им, о чём же будет и писать более всего? Стихи её и пронизаны игривостью, переменчивостью, обаянием, страстью. Ожиданием, жадной встречи, призывом её, готовностью к ней: «Ах, сколько голов закружила / подолом зелёным, льняным!» — «И всё прошу я: — позови, / Судьбу, намеченную еле, / Согрей вниманием любви»; «Не сплю, мне вяннуть суждено. / Я жду... / ...взволнуется окно...»; «И, в нетерпении порыва, / Лететь на каменное дно»; «Но, словно пашня, горькая душа / Всё так же ненасытно просит влаги...»; «И пронзит меня, пронзит / Тайный зов тысячелетий». — «Напои-ка меня этой чёрной, / Обжигающей медной водой!»; «Чтоб, как в объятья, заключить смущенье / В единственные, может быть, слова». — «Хоть о чём-нибудь спроси. / Хоть о чём-нибудь таком, / Что и вымолвить нельзя. / Я б ответила стихом». — «Ведь ты всё можешь, всё умеешь — / И погубить и уберечь»; «Как строчку ты меня читаешь: / К тебе иду». — «Своё дыхание пресечь, / С твоим навек дыханьем слиться!» — «Мы затеряемся друг в друге»; «Как много душевного покоя, / Как много августа во мне». — «[Огонь] горит — наперекор природе, / Без воздуха, без дыма, без меня...»; «Я вернусь... душа моя вернётся / Хоть верхом на помеле...»; «Вся своей доверясь приворотной / Горькой зелени в глазах!»; «Она — хранительница, знаю... / А я — виновница огня!» — «Но ты промолвил (помню, помню!) / Два слова мне наедине, — / И сокрушённой, и бездомной, / И луче-

зарней стало мне!» — «Жизнь моя, черновик беспечный, / Над которым мне слёзы лить». — «...Тупым пером вскрывая вены...».

И при несложившейся жизни — остаётся же ещё простор мысли. Поэт нередко отливает его в отчётливых и даже лапидарных фразах: «И погубить и уберечь / Себя мы можем только сами». — «Рассудочности каменная ложь». — «Природа, музыки сестра! / Ей слов придумывать не надо». — «...У знания тревожные глаза: / В них вещая растерянность незнания». — «Как нас много, в веках знакомых, / Разминувшихся по пути». — «О, разум тёмный и окольный, / Не ты ль, вселенную творя, / Сходил с ума безбогомольно, / Иль зорю бил — без звонаря?..».

И — ещё много о своём внутреннем, всё безвозвратно углубляясь в одиночество, холод, седину, старость. «Я тень себя и тень встречаю». Повторяя блоковский мотив: «Так трудно быть ещё живой!», остаток жизни «заклучу в свои глухие междометья». Однако, во спасение: «Я падаю... Но вижу Бога». «...Опять в потёмках грозových / Сияет луч, и я во власти / Неясных замыслов Твоих».

1996.

